АЗБУКА ВЕРЫ

Николай Михайлович Карамзин

Рыцарь нашего времени

Художественная литература · azbyka.ru

Рыцарь нашего времени – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/ryczar-nashego-vremeni

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Рыцарь нашего времени

Николай Михайлович Карамзин

По изданию: Карамзин Н. М. Избранные сочинения в двух томах. М.; Л., 1964.

Вступление

С некоторого времени вошли в моду исторические романы. Неугомонный род людей, который называется авторами, тревожит священный прах Нум, Аврелиев, Альфредов, Карломанов и, пользуясь исстари присвоенным себе правом (едва ли правым), вызывает древних героев из их тесного домика (как говорит Оссиан), чтобы они, вышедши на сцену, забавляли нас своими рассказами. Прекрасная кукольная комедия! Один встает из гроба в длинной римской тоге, с седою головою; другой в коротенькой гишпанской епанче, с черными усами — и каждый, протирая себе глаза, начинает свою повесть с яиц Леды. Только привыкнув к глубокому могильному сну, они часто зевают; а с ними вместе… и читатели сих исторических небылиц. Я никогда не был ревностным последователем мод в нарядах; не хочу следовать и модам в авторстве; не хочу будить усопших великанов человечества; не люблю, чтоб мои читатели зевали, — и для того, вместо исторического романа, думаю рассказать романическую историю одного моего приятеля. Впрочем, не любо — не слушай, а говорить не мешай: вот мое невинное правило!

Глава I. Рождение моего героя

Если спросите вы, кто он? то я… не скажу вам. «Имя не человек», — говорили русские в старину. Но так живо, так живо опишу вам свойства, все качества моего приятеля — черты лица, рост, походку его — что вы засмеетесь и укажете на него пальцем… «Следственно, он жив?» Без сомнения; и в случае нужды может доказать, что я не лжец и не выдумал на него ни слова, ни дела — ни печального, ни смешного. Однако ж… надобно как-нибудь назвать его; частые местоимения в русском языке неприятны: назовем его — Леоном.

На луговой стороне Волги, там, где впадает в нее прозрачная река Свияга и где, как известно по истории Натальи, боярской дочери, жил и умер изгнанником невинным боярин Любославский, — там, в маленькой деревеньке родился прадед, дед, отец Леонов; там родился и сам Леон, в то время, когда природа, подобно любезной кокетке, сидящей за туалетом, убиралась, наряжалась в лучшее свое весеннее платье; белилась, румянилась… весенними цветами; смотрелась с улыбкою в зеркало… вод прозрачных и завивала себе кудри… на вершинах древесных — то есть в мае месяце, и в самую ту минуту, как первый луч земного света коснулся до его глазной перепонки, в ореховых кусточках запели вдруг соловей и малиновка, а в березовой роще закричали вдруг филин и кукушка: хорошее и худое предзнаменование! по которому осьми-десятилетняя повивальная бабка, принявшая Леона на руки, с веселою усмешкою и с печальным вздохом предсказала ему счастье и несчастье в жизни, вёдро и ненастье, богатство и нищету, друзей и неприятелей, успех в любви и рога при случае. Читатель увидит, что мудрая бабка имела в самом деле дар пророчества… Но мы не хотим заранее открывать будущего.

Отец Леонов был русский коренной дворянин, израненный отставной капитан, человек лет в пятьдесят, ни богатый, ни убогий, и — что всего важнее — самый добрый человек; однако ж нимало не сходный характером с известным дядею Тристрама Шанди — добрый по-своему и на русскую стать. После турецких и шведских кампаний возвратившись на свою родину,

он вздумал жениться — то есть не совсем вовремя — и женился на двадцатилетней красавице, дочери самого ближнего соседа, которая, несмотря на молодые лета свои, имела удивительную склонность к меланхолии, так что целые дни могла просиживать в глубокой задумчивости; когда же говорила, то говорила умно, складно и даже с разительным красноречием; а когда взглядывала на человека, то всякому хотелось остановить на себе глаза ее: так они были приветливы и милы!.. Красавицы нашего времени! Будьте покойны: я не хочу сравнивать ее с вами — но должен, в изъяснение душевной ее любезности, открыть за тайну, что она знала жестокую; жестокая положила на нее печать свою — и мать героя нашего никогда не была бы супругою отца его, если бы жестокий в апреле месяце сорвал первую фиалку на берегу Свияги!.. Читатель уже догадался; а если нет, то может — подождать. Время снимает завесу со всех темных случаев. Скажем только, что сельская наша красавица вышла замуж непорочная душою и телом; и что она искренно любила супруга, во-первых — за его добродушие, а во-вторых — и потому, что сердце ее никем другим не было… уже занято.

Глава II. Каков он родился

Юные супруги, с милым нетерпением ожидающие плода от брачного нежного союза вашего! Если вы хотите иметь сына, то каким его воображаете? Прекрасным?.. Таков был Леон. Беленьким, полненьким, с розовыми губками, с греческим носиком, с черными глазками, с кофейными волосками на кругленькой головке: не правда ли?.. Таков был Леон. Теперь вы имеете об нем идею: поцелуйте же его в мыслях и ласковою улыбкою ободрите младенца жить на свете, а меня — быть его историком!

Глава III. Его первое младенчество

Но что говорить о младенчестве? Оно слишком просто, слишком невинно, а потому и совсем нелюбопытно для нас, испорченных людей. Не спорю, что в некотором смысле можно назвать его счастливым временем, истинною Аркадиею жизни; но потому-то и нечего писать об нем. Страсти, страсти! Как вы ни жестоки, как ни пагубны для нашего спокойствия, но без вас нет в свете ничего прелестного; без вас жизнь наша есть пресная вода, а человек — кукла; без вас нет ни трогательной истории, ни занимательного романа. Назовем младенчество прекрасным лужком, на который хорошо взглянуть, который хорошо похвалить двумя, тремя словами, но которого описывать подробно не советую никакому стихотворцу. Страшные дикие скалы, шумные реки, черные леса, африканские пустыни действуют на воображение сильнее долин Темпейских. Как? Для чего? Не знаю; но знаю то, что самый нежный друг детей, хваля и хваля их невинность, их счастие, скоро будет зевать и задремлет, если глазам или мыслям его не представится что-нибудь совсем противное сей невинности, сему счастию.

Однако ж читатель обидит меня, если подумает, что я таким отзывом, хочу закрыть песчаную бесплодность моего воображения и скорее поставить точку. Нет, нет! Клянусь Аполлоном, что я мог бы набрать довольно цветов для украшения этой главы; мог бы, не отходя от исторической истины, описать живыми красками нежность Леоновой родительницы; мог бы, не нарушая ни Аристотелевых, ни Горациевых правил, десять раз переменить слог, быстро паря вверх и плавно опускаясь вниз, — то рисуя карандашом, то расписывая кистью — мешая важные мысли для ума с трогательными чертами для сердца; мог бы, например, сказать:

«Тогда не было еще «Эмиля», в котором Жан-Жак Руссо так красноречиво, так убедительно говорит о священном долге матерей и читая которого прекрасная Эмилия, милая Лидия отказываются ныне от блестящих собраний и нежную грудь свою открывают не с намерением прельщать глаза молодых сластолюбцев, а для того, чтобы питать ею своего младенца; тогда не говорил еще Руссо, но говорила уже природа, и мать героя нашего сама была его

кормилицею. Итак, не удивительно, что Леон на заре жизни своей плакал, кричал и немог реже других младенцев: молоко нежных родительниц есть для детей и лучшая пища и лучшее лекарство. От колыбели до маленькой кроватки, от жестяной гремушки до маленького раскрашенного конька, от первых нестройных звуков голоса до внятного произношения слов Леон не знал неволи, принуждения, горя и сердца. Любовь питала, согревала, тешила, веселила его; была первым впечатлением его души, первою краскою, первою чертою на белом листе ее чувствительности[1]. Уже внешние предметы начали возбуждать его внимание; уже и взором, и движением руки, и словами часто спрашивал он у матери: «Что вижу? Что слышу?», уже научился он ходить и бегать, — но ничто не занимало его так, как ласки родительницы, никакого вопроса не повторял он столь часто, как: «Маменька! Что тебе надобно?», никуда не хотел идти от нее и, только ходя за нею, ходить научился.

Не правда ли, что это могло бы иному полюбиться? Тут есть живопись, и антитезы, и приятная игра слов. Но я мог бы идти еще далее; мог бы прибавить:

«Вот основание характера его! Первое воспитание едва ли не всегда решит и судьбу и главные свойства человека. Душа Леонова образовалась любовью и для любви. Теперь обманывайте, терзайте его, жестокие люди! Он будет воздыхать и плакать; но никогда — или по крайней мере долго, долго сердце его не отвыкнет от милой склонности наслаждаться собою в другом сердце; не отстанет от нежной привычки жить для кого-нибудь, несмотря на все горести, на все свирепые бури, которые волнуют жизнь чувствительных. Так верный подсолнечник не перестает никогда обращаться к солнцу; обращается к нему и тогда, как грозные облака затмевают светило дня — и поутру и ввечеру, — и тогда, как сам он начинает уже вянуть и сохнуть; всё, всё к нему обращается, до последней минуты растительного бытия своего!»

Надеюсь, что один зоил не похвалил бы сего места, особливо ж нового, разительного сравнения чувствительных сердец, которые всегда стремятся к любви, с цветком подсолнечником, всегда клонящимся к солнцу. Надеюсь, что некоторые милые мои читательницы вздохнули бы из глубины сердца и велели бы вырезать сей цветок на своих печатях.

«Конец главе!» — скажет читатель. Нет, я мог бы еще многое придумать и раскрасить; мог бы наполнить десять, двадцать страниц описанием Леонова детства; например, как мать была единственным его лексиконом; то есть как она учила его говорить и как он, забывая слова других, замечал и помнил каждое ее слово; как он, зная уже имена всех птичек, которые порхали в их саду и в роще, и всех цветов, которые росли на лугах и в поле, не знал еще, каким именем называют в свете дурных людей и дела их; как развивались первые способности души его; как быстро она вбирала в себя действия внешних предметов, подобно весеннему лужку, жадно впивающему первый весенний дождь; как мысли и чувства рождались в ней, подобно свежей апрельской зелени; сколько раз в день, в минуту нежная родительница целовала его, плакала и благодарила небо; сколько раз и он маленькими своими ручонками обнимал ее, прижимаясь к ее груди; как голос его тверже и тверже произносил: «Люблю тебя, маменька!» и как сердце его время от времени чувствовало это живее!

Слова мои текли бы рекою, если бы я только хотел войти в подробности; но не хочу, не хочу! Мне еще многое надобно описывать; берегу бумагу, внимание читателя, и… конец главе!

Глава IV, которая написана только для пятой

Государи мои! Вы читаете не роман, а быль: следственно, автор не обязан вам давать отчета в происшествиях. Так было точно!.. — и более не скажу ни слова. Кстати ли? У места ли? Не мое дело. Я иду только с пером вслед за судьбою и описываю, что творит она по своему

всемогуществу, — для чего? спросите у нее; но скажу вам наперед, что ответа не получите. Семь тысяч лет (если верить хронографам) чудесит она в мире и никому еще не изъяснила чудес своих. Заглянем ли в историю или посмотрим, что вокруг нас делается: везде сфинксовы загадки, которых и сам Эдип не отгадает. — Роза вянет, терние остается; столетний дуб, благодетель странников, падет на землю от громового удара; ядовитое дерево стоит невредимо на своем корне. Петр Великий, среди благодетельных замыслов для отечества, хладеет в объятиях смерти; ничтожный человек нередко два раза из века в век переходит. Юный счастливец, которого жизнь можно назвать улыбкою судьбы и природы, угасает в минуту, как метеор: злополучный, ненужный для света, тягостный для самого себя живет и не может дождаться конца своего… Что ж нам делать? Плакать, у кого есть слезы, и хотя изредка утешаться мыслию, что здешний свет есть только пролог драмы!

Глава V. Первый удар рока

Дунул северный ветер на нежную грудь нежной родительницы, и гений жизни ее погасил свой факел!.. Да, любезный читатель, она простудилась, и в девятый день с мягкой постели переложили ее на жесткую: в гроб — а там и в землю — и засыпали, как водится, — и забыли в свете, как водится… Нет, поговорим еще о последних ее минутах.

Герой наш был тогда семи лет. Во всю болезнь матери он не хотел идти прочь от ее постели; сидел, стоял подле нее; глядел беспрестанно ей в глаза; спрашивал: «Лучше ли тебе, милая?» — «Лучше, лучше», — говорила она, пока говорить могла, — смотрела на него: глаза ее наполнялись слезами — смотрела на небо — хотела ласкать любимца души своей и боялась, чтобы ее болезнь не пристала к нему — то говорила с улыбкою: «Сядь подле меня», то говорила со вздохом: «Поди от меня!..» Ах! Он слушался только первого; другому приказанию не хотел повиноваться.

Надобно было силою оттащить его от умирающей. «Постойте, постойте! — кричал он со слезами. — Маменька хочет мне что-то сказать; я не отойду, не отойду!..» Но маменька отошла между тем от здешнего света.

Его вынесли, хотели утешать: напрасно!.. Он твердил одно: «К милой!», вырвался наконец из рук няни, прибежал, увидел мертвую на столе, схватил ее руку: она была как дерево, — прижался к ее лицу: оно было как лед… «Ах, маменька!» — закричал он и упал на землю. Его опять вынесли, больного, в сильном жару.

Отец рвался, плакал: он любил супругу, как только мог любить. Сердцу его известны были горести в жизни; но сей удар судьбы казался ему первым несчастием…

С бледным лицом, с распущенными седыми волосами стоял он подле гроба, когда отпевали усопшую; рыдая, прощался с нею; с жаром целовал ее лицо и руки; сам опускал в могилу; бросил на гроб первую горсть земли; стал на колени; поднял вверх глаза и руки; сказал: «На небесах душа твоя! Мне недолго жить остается!» и тихими шагами пошел домой. Сын его лежал в забытьи; он сел подле кровати и думал: «Неужели и ты пойдешь вслед за матерью? Неужели вы меня одного оставите?.. Да будет воля всевышнего!» — Леон открыл глаза, встал и протянул к отцу руки, говоря: «Где она? где она?» — «С ангелами, друг мой!» — «И не будет к нам назад?» — «Мы к ней будем». — «Скоро ли?» — «Скоро, друг мой; время летит и для печальных». — Они обнялися, заплакали: старец лил слезы вместе с младенцем!.. Им стало легче.

И ты, о благотворное время! Спеши излить целебный свой бальзам на рану их сердца! И ты, подобно Морфею, рассыпаешь маковые цветы забвения: брось несколько цветочков на юного

моего героя: ах! он еще не созрел для глубокой, беспрестанной горести; и много, много еще будет ему случаев тосковать в жизни! Пощади его младенчество! Не забудь утешить и старца: он был всегда добрым человеком; рука его, вооруженная лютым долгом воина, убивала гордых неприятелей, но сердце его никогда не участвовало в убийстве; никогда нога его, в самом пылу сражения, не ступала бесчеловечно на трупы несчастных жертв: он любил погребать их и молиться о спасении душ. Благотворное время! Успокой старца; дай ему еще несколько мирных лет, хотя для того, чтобы он мог посвятить их на воспитание сына. Пусть иногда воспоминают они о любезной, но без тоски и страдания; пусть удар горести изредка отдается в их сердце, но тише и тише, подобно эху, которое повторяется слабее, слабее, и наконец… замолкает.

Читатель! Я хочу, чтобы мысль о покойной осталась в душе твоей: пусть она притаится во глубине ее, но не исчезнет! Когда-нибудь мы дадим тебе в руки маленькую тетрадку — и мысль сия оживится — и в глазах твоих сверкнут слезы — или я… не автор.

Глава VI. Успехи в ученьи, образовании ума и чувства

Итак, летящее время обтерло своими крылами слезы горестных, и всякий снова принялся за свое дело: отец — за хозяйство, а сын — за часовник. Сельский дьячок, славнейший грамотей в околотке, был первым учителем Леона и не мог нахвалиться его понятием, «В три дни, — рассказывал он за чудо другим грамотеям, — в три дни затвердить все буквы, в неделю — все склады; в другую — разбирать слова и титлы: этого не видано, не слыхано! В ребенке будет путь».

В самом деле, он имел необыкновенное понятие и через несколько месяцев мог читать все церковные книги, как «Отче наш»; так же скоро выучился и писать; так же скоро начал разбирать и печать светскую, к удивлению соседственных дворян, при которых отец нередко заставлял читать Леона, чтобы радоваться в душе своей их похвалами. Первая светская книга, которую маленький герой наш, читая и читая, наизусть вытвердил, была Езоповы «Басни»: отчего во всю жизнь свою имел он редкое уважение к бессловесным тварям, помня их умные рассуждения в книге греческого мудреца, и часто, видя глупости людей, жалел, что они не имеют благоразумия скотов Езоповых.

Скоро отдали Леону ключ от желтого шкапа, в котором хранилась библиотека покойной его матери и где на двух полках стояли романы, а на третьей несколько духовных книг: важная эпоха в образовании его ума и сердца! «Дайра, восточная повесть», «Селим и Дамасина», «Мирамонд», «История лорда N» — всё было прочтено в одно лето, с таким любопытством, с таким живым удовольствием, которое могло бы испугать иного воспитателя, но которым отец Леонов не мог нарадоваться, полагая, что охота ко чтению каких бы то ни было книг есть хороший знак в ребенке. Только иногда по вечерам говаривал он сыну: «Леон! Не испорти глаз. Завтре день будет; успеешь начитаться». А сам про себя думал: «Весь в мать! бывало, из рук не выпускала книги. Милый ребенок! Будь во всем похож на нее; только будь долголетнее!»

Но чем же романы пленяли его? Неужели картина любви имела столько прелестей для осьми — или десятилетнего мальчика, чтобы он мог забывать веселые игры своего возраста и целый день просиживать на одном месте, впиваясь, так сказать, всем детским вниманием своим в нескладицу «Мирамонда» или «Дайры»? Нет, Леон занимался более происшествиями, связию вещей и случаев, нежели чувствами любви романической. Натура бросает нас в мир, как в темный, дремучий лес, без всяких идей и сведений, но с большим запасом любопытства, которое весьма рано начинает действовать во младенце, тем ранее, чем природная основа души его нежнее и совершеннее. Вот то белое облако на заре жизни, за которым скоро

является светило знаний и опытов! Если положить на весы, с одной стороны, те мысли и сведения, которые в душе младенца накопляются в течение десяти недель, а с другой — идеи и знания, приобретаемые зрелым умом в течение десяти лет, то перевес окажется, без всякого сомнения, на стороне первых. Благодетельная натура спешит наделить новорожденного всем необходимым для мирского странствия: разум его летит орлом в начале жизненного пространства; но там, где предметом нашего любопытства становится уже не истинная нужда, но только суемудрие, там полет обращается в пешеходство и шаги делаются час от часу труднее.

Леону открылся новый свет в романах; он увидел, как в магическом фонаре, множество разнообразных людей на сцене, множество чудных действий, приключений — игру судьбы, дотоле ему совсем неизвестную… (Но тайное предчувствие сердца говорило ему: «Ах! И ты, и ты будешь некогда ее жертвою! И тебя схватит, унесет сей вихорь… Куда?.. Куда?..») Перед глазами его беспрестанно поднимался новый занавес: ландшафт за ландшафтом, группа за группою являлись взору. — Душа Леонова плавала в книжном свете, как Христофор Коломб на Атлантическом море, для открытия… сокрытого.

Сие чтение не только не повредило его юной душе, но было еще весьма полезно для образования в нем нравственного чувства. В «Дайре», «Мирамонде», в «Селиме и Дамасине» (знает ли их читатель?), одним словом, во всех романах желтого шкапа герои и героини, несмотря на многочисленные искушения рока, остаются добродетельными; все злодеи описываются самыми черными красками; первые наконец торжествуют, последние наконец, как прах, исчезают. В нежной Леоновой душе неприметным образом, но буквами неизгладимыми начерталось следствие: «Итак, любезность и добродетель одно! Итак, зло безобразно и гнусно! Итак, добродетельный всегда побеждает, а злодей гибнет!» Сколь же такое чувство спасительно в жизни, какою твердою опорою служит оно для доброй нравственности, нет нужды доказывать. Ах! Леон в совершенных летах часто увидит противное, но сердце его не расстанется с своею утешительною системою; вопреки самой очевидности, он скажет: «Нет, нет! Торжество порока есть обман и призрак!»

Нет, нет! Не буду ослеплен
Сим блеском, сколь он ни прекрасен!
Дракон на время усыплен,
Но самый сон его ужасен!
Злодей на Этне строит дом,
И пепел под его ногами
(Там лава устлана цветами,
И в тишине таится гром).
Пусть он не знает угрызенья!
Он недостоин знать его,
Бесчувственность есть ад того,
Кто зло творит без сожаленья!

С каким живым удовольствием маленький наш герой в шесть или семь часов летнего утра, поцеловав руку у своего отца, спешил с книгою на высокий берег Волги, в ореховые кусточки, под сень древнего дуба! Там, в беленьком своем камзольчике бросаясь на зелень, среди полевых цветов сам он казался прекраснейшим, одушевленным цветом. Русые волосы, мягкие, как шелк, развевались ветерком по розам милого личика. Шляпка служила ему столиком: на нее клал он книгу свою, одною рукою подпирая голову, а другою перевертывая листы, вслед за большими голубыми глазами, которые летели с одной страницы на другую и в которых, как в ясном зеркале, изображались все страсти, худо или хорошо описываемые в романе: удивление, радость, страх, сожаление, горесть. Иногда, оставляя книгу, смотрел он на синее пространство

Волги, на белые парусы судов и лодок, на станицы рыболовов, которые из-под облаков дерзко опускаются в пену волн и в то же мгновение снова парят в воздухе. — Сия картина так сильно впечатлелась в его юной душе, что он через двадцать лет после того, в кипении страстей, в пламенной деятельности сердца, не мог без особливого радостного движения видеть большой реки, плывущих судов, летающих рыболовов: Волга, родина и беспечная юность тотчас представлялись его воображению, трогали душу, извлекали слезы. Кто не испытал нежной силы подобных воспоминаний, тот не знает весьма сладкого чувства. Родина, апрель жизни, первые цветы весны душевной! Как вы милы всякому, кто рожден с любезною склонностию к меланхолии!

Глава VII. Провидение

В сие же лето Леонове сердце вкусило живое чувство мироправителя при таком случае, о котором он после во всю жизнь свою не мог вспоминать равнодушно. Мысль о божестве была одною из первых его мыслей. Нежная родительница наилучшим образом старалась утвердить ее в душе Леона. Срывая для него весенний луговой цветок или садовый летний плод, она всегда говорила: «Бог дает нам цветы, бог дает нам плоды!» — «Бог! — повторил однажды любопытный младенец. — Кто Он, маменька?» — «Небесный Отец всех людей, который их питает и делает им всякое добро; который дал мне тебя, а тебе меня». — «Тебя, милая? Какой же Он добрый! Я стану всегда любить Его!» — «Люби и молись Ему всякий день». — «Как же Ему молиться?» — «Говори: Боже! будь к нам милостив!» — «Стану, стану, милая!..» Леон с того времени всегда молился Богу. Ах! Он молился ему со слезами в болезнь родительницы своей! Но судьбы вышнего неисповедимы. — Такова была религия нашего героя до сего лета и до случая, который теперь описать желаю.

В один жаркий день он, по своему обыкновению, читал книгу под сению древнего дуба; старик дядька сидел на траве в десяти шагах от него. Вдруг нашла туча, и солнце закрылось черными парами. Дядька звал домой Леона, «Погоди», — отвечал он, не спуская глаз с книги. Блеснула молния, загремел гром, пошел дождик. Старик непременно хотел идти домой. Леон завернул книгу в платок, встал и посмотрел на бурное небо. Гроза усиливалась: он любовался блеском молнии и шел тихо, без всякого страха. Вдруг из густого лесу выбежал медведь и прямо бросился на Леона. Дядька не мог даже и закричать от ужаса. Двадцать шагов отделяют нашего маленького друга от неизбежной смерти: он задумался и не видит опасности; еще секунда, две — и несчастный будет жертвою яростного зверя. Грянул страшный гром… какого Леон никогда не слыхивал; казалось, что небо над ним обрушилось и что молния обвилась вокруг головы его. Он закрыл глаза, упал на колени и только мог сказать: «Господи!», через полминуты взглянул — и видит перед собою убитого громом медведя. Дядька насилу мог образумиться и сказать ему, каким чудесным образом бог спас его. Леон стоял все еще на коленях, дрожал от страха и действия электрической силы; наконец устремил глаза на небо, и несмотря на черные, густые тучи, он видел, чувствовал там присутствие бога — Спасителя. Слезы его лились градом; он молился во глубине души своей, с пламенною ревностию, необыкновенною во младенце; и молитва его была… благодарность! — Леон не будет уже никогда атеистом, если прочитает и Спинозу, и Гоббеса, и «Систему натуры»,

Читатель! Верь или не верь: но этот случай не выдумка. Я превратил бы медведя в благороднейшего льва или тигра, если бы они… были у нас в России.

Глава VIII. Братское общество провинциальных дворян

Знаю, что все идет к лучшему; знаю выгоды нашего времени и радуюсь успехам просвещения в России; однако ж с удовольствием обращаю взор и на те времена, когда наши дворяне, взяв

отставку, возвращались на свою родину с тем, чтобы уже никогда не расставаться с ее мирными пенатами; редко заглядывали в город; доживали век свой на свободе и в беспечности; правда, иногда скучали в уединении, но зато умели и веселиться при случае, когда съезжались вместе. Ошибаюсь ли? Но мне кажется, что в них было много характерного, особенного — чего теперь уже не найдем в провинциях и что по крайней мере занимательно для воображения. — Просвещение сближает свойства народов и людей, равняя их, как дерева в саду регулярном.

Капитан Радушин, отец Леонов, любил угощать добрых приятелей чем бог послал. Сын всякий раз с великим удовольствием бежал сказать ему: «Батюшка! Едут гости!», а капитан наш отвечал: «Добро пожаловать!», надевал круглый парик свой и шел к ним навстречу с лицом веселым. Способ наскучить людьми есть быть с ними беспрестанно; способ живо наслаждаться их обществом есть видеться с ними изредка. Провинциалы наши не могли наговориться друг с другом; не знали, что за зверь политика и литература, а рассуждали, спорили и шумели. Деревенское хозяйство, охота, известные тяжбы в губернии, анекдоты старины служили богатою матернею для рассказов и примечаний… Ах! Давно уже смерть и время бросили на вас темный покров забвения, витязи С-ского уезда, верные друзья капитана Радушина! Лебрюн и Лампи не сохранили для нас вашего образа; но я недаром автор Леоновой истории: зеркало памяти моей ясно. Как теперь смотрю на тебя, заслуженный майор Фаддей Громилов, в черном большом парике, зимою и летом в малиновом бархатном камзоле, с кортиком на бедре и в желтых татарских сапогах; слышу, слышу, как ты, не привыкнув ходить на цыпках в комнатах знатных господ, стучишь ногами еще за две горницы и подаешь о себе весть издали громким своим голосом, которому некогда рота ландмилиции повиновалась и который в ярких звуках своих нередко ужасал дурных воевод провинции! Вижу и тебя, седовласый ротмистр Бурилов, простреленный насквозь башкирскою стрелою в степях уфимских; слабый ногами, но твердый душою; ходивший на клюках, но сильно махавший ими, когда надлежало тебе представить живо или удар твоего эскадрона, или омерзение свое к бесчестному делу какого-нибудь недостойного дворянина в вашем уезде! Гляжу и на важную осанку твою, бывший воеводский товарищ Прямодушин, и на орлиный нос твой, за который не мог водить тебя секретарь провинции, ибо совесть умнее крючкотворства; вижу, как ты, рассказывая о Бироне и Тайной канцелярии, опираешься на длинную трость с серебряным набалдашником, которую подарил тебе фельдмаршал Миних… Вижу всех вас, достойные матадоры провинции, которых беседа имела влияние на характер моего героя; и, чтобы представить разительно все благородство сердец ваших, сообщаю здесь условия, заключенные вами между собою в доме отца Леонова и написанные рукою Прямодушина…

ДОГОВОР БРАТСКОГО ОБЩЕСТВА

«Мы, нижеподписавшиеся, клянемся честию благородных людей жить и умереть братьями, стоять друг за друга горою во всяком случае, не жалеть ни трудов, ни денег для услуг взаимных, поступать всегда единодушно, наблюдать общую пользу дворянства, вступаться за притесненных и помнить русскую пословицу: „Тот дворянин, кто за многих один“; не бояться ни знатных, ни сильных, а только бога и государя; смело говорить правду губернаторам и воеводам; никогда не быть их прихлебателями и не такать против совести. А кто из нас не сдержит своей клятвы, тому будет стыдно и того выключить из братского общества». — Следует восемь имен.

Хотя тайная хроника говорит мне на ухо, что сей дружеский союз наших дворян заключен был в день Леонова рождения, которое отец всегда праздновал с великим усердием и с отменною роскошью (так, что посылал в город даже за свежими лимонами); хотя читатель догадается, что в такой веселый день, особливо к вечеру, хозяин и гости не могли быть в обыкновенном расположении ума и сердца; хотя

В восторгах Бахуса нам море по колено,
И с рюмкою в руке мы все богатыри;

однако ж история, которая лжет только из году в год (первое апреля и еще 29 февраля), уверяет, что они, проснувшись на другой день, снова читали трактат свой, снова утвердили его и (что не всегда делают и великие державы европейские) старались исполнять во всей точности. Одна смерть разрушила их братскую связь… Здесь хочется мне заглянуть вперед. Долго еще ждать времени; а может быть, тогда, в богатстве случаев, и забуду сию любезную черту. Итак, скажу… Когда судьба, несколько времени играв Леоном в большом свете, бросила его опять на родину, он нашел майора Громилова, сидящего над больным Прямодушиным, который лежал в параличе и не владел руками (все прочие друзья их были уже на том свете). Громилов кормил больного из рук своих, плакал горько и сказал Леону: «Тошно, тошно быть сиротою на старости!..» Добрые люди! Мир вашему праху! Пусть другие называют вас дикарями: Леон в детстве слушал с удовольствием вашу беседу словохотную, от вас заимствовал русское дружелюбие, от вас набрался духу русского и благородной дворянской гордости, которой он после не находил даже и в знатных боярах: ибо спесь и высокомерие не заменяют ее; ибо гордость дворянская есть чувство своего достоинства, которое удаляет человека от подлости и дел презрительных. — Добрые старики! Мир вашему праху!

Глава IX. Мечтательность и склонность к меланхолии

Итак, Леон читает книги, от времени до времени бегает встречать гостей, ездит иногда и сам в гости к добрым провинциалам, слушает их разговоры и проч.

Довольно занятия, но он еще имеет время задумываться и мечтать. Несмотря на маленькую слабость мою к романам, признаюсь, что их можно назвать теплицею для юной души, которая от сего чтения зреет прежде времени; а это, если верить философическим медикам, бывает вредно… по крайней мере для здоровья. «Губите себя вашими книгами и романами! — восклицает один важный доктор. — Но оставьте в покое недовершенное произведение натуры; не воспаляйте воображения детей; дайте укрепиться молодым нервам и не приводите их в напряжение, если не хотите, чтобы равновесие жизни расстроилось с самого начала!» Леон на десятом году от рождения мог уже часа по два играть воображением и строить замки на воздухе. Опасности и героическая дружба были любимою его мечтою. Достойно примечания то, что он в опасностях всегда воображал себя избавителем, а не избавленным: знак гордого, славолюбивого сердца! Герой наш мысленно летел во мраке ночи на крик путешественника, умерщвляемого разбойниками; или брал штурмом высокую башню, где страдал в цепях друг его. Такое донкишотство воображения заранее определяло нравственный характер Леоновой жизни. Вы, без сомнения, не мечтали так в своем детстве, спокойные флегматики, которые не живете, а дремлете в свете и плачете только от одной зевоты! И вы, благоразумные эгоисты, которые не привязываетесь к людям, а только с осторожностию за них держитесь, пока связь для вас полезна, и свободно отводите руку, как скоро они могут чем-нибудь вас потревожить! Герой мой снимает с головы маленькую шляпку свою, кланяется вам низко и говорит учтиво: «Милостивые государи! Вы никогда не увидите меня под вашими знаменами с буквою П и Я!»

Сверх того, он любил грустить, не зная о чем. Бедный!.. Ранняя склонность к меланхолии не есть ли предчувствие житейских горестей?.. Голубые глаза Леоновы сияли сквозь какой-то флер, прозрачную завесу чувствительности. Печальное сиротство еще усилило это природное расположение ко грусти. Ах! Самый лучший родитель никогда не может заменить матери, нежнейшего существа на земном шаре! Одна женская любовь, всегда внимательная и ласковая, удовлетворяет сердцу во всех отношениях!.. Таким образом, Леон был приготовлен

натурою, судьбою и романами к следующему.

Глава X. Важное знакомство

В соседстве у капитана Радушина поселился граф Миров, житель столицы, богатый человек, который некогда служил вместе с ним и хотел возобновить старое знакомство… Капитан приехал к нему вместо с сыном. Леон в первый раз увидел огромный дом, множество лакеев, пышность, богатое украшение комнат и шел за отцом с робким видом. Не мудрено, что он дурно поклонился хозяину, переступал с ноги на ногу, не знал, куда глядеть, куда девать руки. Суровый вид графа (человека лет в пятьдесят) еще умножил его робость; но, взглянув на миловидную графиню, Леон ободрился… взглянул еще и вдруг переменился в лице; заплакал, хотел скрыть слезы свои и не мог. Это удивило хозяев; желали знать причину, спрашивали — но он молчал. Отец велел ему говорить, и тогда Леон отвечал тихим голосом: «Графиня похожа на матушку». Капитан посмотрел — сказал: «Это правда, извините нас, милостивая государыня», — и сам залился горькими слезами. Леон все забыл и бросился к нему в объятия… Граф был холоден, но графиня, недаром похожая на мать Леонову, утирала себе глаза платком. Обыкновенная бледность лица ее покрылась свежим румянцем… О женщины! Какое движение чувствительности не находит в сердце вашем верного отзыва?.. Леон смотрел на Эмилию (имя графини) с трогательною, живейшею благодарностию, а Эмилия на Леона с нежною ласкою. Все расстояние между двадцатипятилетнею светскою дамою и десятилетним деревенским мальчиком исчезло в минуту симпатии… но эта минута обратилась в часы, дни и месяцы. Я должен теперь рассказывать странности… Не мудрено было полюбить нашего героя, прекрасного личиком, миловидного, чувствительного, умного, но привязаться к нему без памяти, со всеми знаками живейшей страсти, к невинному ребенку: вот что называю неизъяснимою странностию!.. Но разве женщины когда-нибудь были изъяснимы?.. Между тем надобно познакомить читателя с графинею.

Глава XI. Отрывок графининой истории

«L’histoire d’une femme est toujours un roman», — «История женщины есть всегда роман», — сказал один француз в таком смысле, который всякому понятен. Любовь, конечно, есть главное дело их жизни: правда, что и мужчинам невесело жить без нее; но они имеют рассеяния, могут забываться, обманываться и средства принимать за цель; а красавицы беспрестанно стремятся к одной мете, и рифма: «жить — любить» есть для них математическая истина. Никто не удивится, если скажу, что граф был для графини — только мужем, то есть: человеком иногда сносным, иногда нужным, иногда скучным до крайности; но если примолвлю, что графиня, будучи прелестною и милою, до приезда в деревню умела сохранить тишину сердца своего, и не случайно (ибо случай бывает нередко попечительным дядькою невинности), но по системе и рассудку, то самый легковерный читатель улыбнется… Тем хуже для нравов нашего времени! Герой мой, вошедши в свет, расспрашивал о графине: все говорили об ней с почтением. Пятидесятилетние девицы уверяли его, что московские летописи злословия упоминали об ней весьма редко, и то мимоходом, приписывая ей одно кокетство минутное или — (техническое слово, неизвестное профанам!) — кокетство от рассеяния, исчезавшее от первого движения рассудка и не имевшее никогда следствий. Не знаю, как другие, — а я после такого свидетельства расположен верить следующему письму графини, писанному в день отъезда ее к одной верной приятельнице, которая после сама отдала его Леону. Оно, за неимением других биографических материалов, послужит нам эскизом графининой истории.

«Прости, милая!.. Через два часа мы едем. Бога ради не тужи обо мне и не брани мужа моего, который вздумал сделаться экономом в генваре месяце! Клянусь тебе, что не жалею о Москве,

где не оставляю ничего любезного и где со времени твоего отъезда мне было даже скучно. Ты не веришь моему равнодушию к светским удовольствиям, говоря: „Пусть безобразные женщины ненавидят зеркало; красота и любезность охотно в него заглядывают, — а свет есть для нас зеркало!“ Но я, право, не думаю тебя обманывать. Как скоро женщина не хочет быть кокеткою, то блестящие ужины и балы не пленяют ее. Вопреки злословию мужчин, мы иногда рассуждаем, имеем правила и следуем им. Все, что я видела в свете, еще более уверило меня в необходимости обуздывать движения ветреного сердца и самолюбия нашего. Верю, что пылкие страсти имеют райские минуты — но минуты! А я хотела бы жить в раю: иначе не желаю и знать его. Замужняя женщина должна пли находить счастие дома, или великодушно от него отказаться: судьба не дала мне первого — итак, надобно утешиться великодушием. То и другое видим редко: не правда ли? следственно, могу чем-нибудь хвалиться в жизни. Не будучи, к счастию, Руссовою Юлиею, я предпочла бы нежного Сен-Прё слишком благоразумному Вольмару и, несмотря на розницу в летах, умела бы обожать своего мужа, если бы он был… хотя Вольмаром! Но граф мой совершенный стоик; не привязывается душою ни к чему тленному и не стыдится говорить, для чего он на мне женился!.. Такой муж, оставляя сердце без дела, дает много труда уму и правилам. В первые два года я была с ним несчастлива; испытала без успеха все способы вывести его из убийственного равнодушия — даже самую ревность — и наконец успокоилась. Если провидение исполнит единственное желание моего сердца: быть матерью, то оставлю детям в наследство непорочное имя. По крайней мере я была достойна счастия, и ничто не мешало бы мне им наслаждаться; не боялась ни проницательных глаз злословия, ни мнения людей строгих!..

Однако ж перед отъездом нашим я была — едва не в опасности! Вообрази, что томный Н*, побывав шесть или семь раз у нас в доме, вздумал написать ко мне любовное письмо!.. Бедный молодой человек!.. Он так хорошо умеет говорить с женским сердцем; так хорошо льстил моему самолюбию, не говоря ни слова, а только смотря на меня и на других женщин! Можно иногда сносить нескромные взоры, но дерзкое письмо требовало решительных мер: ему отказано от дому![2] По обыкновению своему я принесла к графу новое любовное объявление, написанное, как водится, на розовой бумажке:[3] по обыкновению своему, он не читал его, а спрятал в бюро, сказав, что дает мне слово прочесть в деревне, от скуки, все нежные эпистолы моих несчастных селадонов. Шутка недурна! Граф иногда забавен и с некоторого времени бывает почти ласков. Можно сказать, что мы живем с ним душа в душу — с той минуты, как я перестала искать в нем души!.. Он хотел в удовольствие мое взять с собою в деревню италиянского певца и еще двух или трех музыкантов: я отказалась — музыка приводит меня в меланхолию; а в уединении это действие может быть еще сильнее… Думаю бросить даже и романы: на что волновать мечтами сердце и воображение, когда спокойствие должно быть моим благополучием?..»

Последних десяти строк мы никак не могли разобрать: они почти совсем изгладились от времени; такие беды случаются нередко с нами, антикварiями! Но читатели имеют уже легкую идею о характере, уме и правилах Эмилии. Надобно сказать что-нибудь об ее наружности: в женщинах это не последнее. Они сами в том уверены, — и добродушная из них простит веяное злословие, кроме неосторожного слова насчет ее красоты… Я видел милый портрет графини… «Но живописцы такие льстецы!..» У меня есть другое свидетельство. Герой мой доныне говорит с восторгом о голубых ангельских глазах ее, нежной улыбке, Дианиной стройности, длинных волосах каштанового цвета… Читатели опять могут остановить меня замечанием, что воображение романических голов стоит всякого льстеца-живописца… И то правда; но я решу сомнение, объявляя наконец, что сам граф Миров, который в глубокой старости познакомился со мною, хваля какую-нибудь прелестницу, всегда говаривал: «Она почти так же хороша, как была моя графиня в молодости». Свидетельство мужа о красоте жены принимается во всех судах: итак, читатели — вдобавок к голубым глазам, к нежной

улыбке, стройному стану и длинным волосам каштанового цвета — могут вообразить полное собрание всего, что нас пленяет в женщинах, и сказать себе в мыслях: «Такова была графиня Мирова!» Имею доверенность к их вкусу.

Глава XII. Вторая маменька

Мы уже назвали привязанность Эмилии к Леону неизъяснимою; однако ж заметим исторически некоторые обстоятельства, служащие к объяснению дела. Славный майор Фаддей Громилов, который знал людей не хуже «Военного устава», и воеводский товарищ Прямодушин[4], которого длинный орлиный нос был неоспоримым знаком наблюдательного духа, часто говаривали капитану Радушину: «Сын твой родился в сорочке: что взглянешь, то полюбишь его!» Это доказывает, между прочим, что старики наши, не зная Лафатера, имели уже понятие о физиогномике и считали дарование нравиться людям за великое благополучие (горе человеку, который не умеет ценить его!)... Леон вкрадывался в любовь каким-то приветливым видом, какими-то умильными взорами, каким-то мягким звуком голоса, который приятно отзывался в сердце. Графиня же видела его в прелестную минуту чувствительности — в слезах нежного воспоминания, которого она сама была причиною: сколько выгод для нашего героя! Надобно также сказать, что Эмилия, несмотря на ее мудрые правила и великое благоразумие, начинала томиться скукою в деревне, проводя дни и вечера с глазу на глаз с хладнокровным супругом. Как приятно обласкать хорошенького мальчика! Он вырос в деревне, застенчив, неловок: как весело взять его на свои руки!.. «Бедный сиротка! У него нет матери! А он так любил ее! Она же была на меня похожа! Я приготовлю деревенского мальчика быть любезным человеком в свете, и мое удовольствие обратится для него в благодеяние!..» Так могла думать графиня, стараясь ласками привязать к себе Леона, который едва верил своему счастию и с такою чувствительностию принимал их, что Эмилия в другое свидание сказала ему сквозь слезы: «Леон! Я хочу заступить место твоей маменьки! Будешь ли любить меня, как ты ее любил?..» Он бросился целовать ее руку и заплакал от радости; ему казалось, что маменька его в самом деле воскресла!..

Итак, Эмилия объявила Леона нежным другом своим; сперва через день, а наконец всякий день присылала за ним карету; сама учила его по-французски, даже истории и географии: ибо Леон (между нами будь сказано!) до того времени не знал ничего, кроме Езоповых «Басен», «Дайры» и великих творений Федора Эмина. Графиня старалась также образовать в нем приятную наружность: показала, как ему надобно ходить, кланяться, быть ловким в движениях, — и герой наш не имел нужды в танцмейстере. Разумеется, что его одели уже по моде: маленькая слабость женщин! Любя наряжаться, они любят и наряжать все, что имеет счастие им нравиться. Через две недели соседи не узнавали Леона в модном фраке его, в английской шляпе, с Эмилиною тросточкою в руке и совершенно городскою осанкою. «Что за чудо!» — рассуждали они, но чудо изъяснялось тем, что любезная, светская женщина занималась нашим деревенским мальчиком. Отец говорил ему: «Леон! я с тобою почти не вижусь; но мне приятно, что добрые сердца тебя любят. По милости графининой ты будешь человеком!» — Успехи его во французском языке были еще удивительнее; не видав в глаза скучной грамматики, он через три месяца мог уже изъяснять на нем благодарную любовь свою к маменьке и знал совершенно все тонкости ласковых выражений. Она гордилась учеником своим, а всего более — любила его!

Счастливый ребенок! Будь осмью годами старее, и — кто не позавидовал бы твоему счастию? Но ты самому малолетству обязан своим редким благополучием! Эмилия, которой строгие правила нам известны, могла полюбить одну невинность. Кто боится ребенка, хотя и смышленого, хотя и пылкого, хотя и ревностного читателя романов? Мужчины бывают страшны тогда, когда их можно узнать в женском платье: невинность еще не имеет пола!

И графиня без всякого упрека совести согревала Леона нежными поцелуями, когда он, приехав, вбегал холодный в кабинет ее и если — не было с нею графа. Она никогда не завтракала без ученика своего, как ни рано вставала: ибо молодые супруги мужей, почтенных летами, охотно исполняют сие важное предписание медиков. Эмилия сама варила кофе, — а он, стоя за нею, чесал гребнем ее светлые каштановые волосы, которые почти до земли доставали и которые любил он целовать… Ребячество! И много подобного она дозволяла ему. Например: у него была страсть служить ей за туалетом, и горничная девушка ее наконец так привыкла к его услугам, что не входила уже при Леоне в уборную комнату госпожи своей… Краснеюсь за моего героя, но признаюсь, что он подавал графине — даже башмаки!.. «Можно ли так унижаться благородному человеку?» — скажут провинциальные дворяне. Зато он видел самые прекрасные ножки в свете!.. Минуты ученья были для него минутами наслаждения: взяв французскую книгу, Леон садился подле маменьки, так близко, что чувствовал биение сердца ее; она клала ему на плечо свою голову, чтобы следовать за ним глазами по страницам. Прочитав без ошибки несколько строк, Леон взглядывал на нее с улыбкою — и в таком случае губы их невольно встречались: успех требовал награды и получал ее! Перед обедом графиня садилась за клавесин: играла, пела — и нежный ученик ее пленялся новостию сего райского удовольствия; глаза его наполнялись слезами, сердце трепетало, и душа так сильно волновалась, что иногда, схватив Эмилию за руку, он говорил: «Полно, полно, маменька!», но через минуту хотел опять слушать то же… Какая прелестная весна наступила для Леона! Графиня любила ходить пешком: он был ее путеводителем и с неописанным удовольствием показывал ей любезные места своей родины. Часто садились они на высоком берегу Волги, и Леон, под шумом волн, засыпал на коленях нежной маменьки, которая боялась тронуться, чтобы не разбудить его: сон красоты и невинности казался ей так мил и прелестен!.. Смотри и наслаждайся, любезная Эмилия! Заря чувствительности тиха и прекрасна, но бури недалеко. Сердце любимца твоего зреет вместе с умом его, и цвет непорочности имеет судьбу других цветов! Читатель подумает, что мы сею риторическою фигурою готовим его к чему-нибудь противному невинности: нет!.. время еще впереди! Герою нашему исполнилось только одиннадцать лет от роду… Однако ж любовь к истине заставляет нас описать маленький случай, который может быть растолкован и так и сяк…

Глава XIII. Новый актеон

Леон знал, что графиня всякий день поутру купается в маленькой речке близ своего дому. Однажды, проснувшись рано, он спешил одеться и, не дожидаясь графининой кареты, пошел к сему месту с какою-то неясною, но заманчивою мыслию. Через час стоит уже на берегу реки; видит тропинку, идущую от графского дому; видит измятую траву… «Тут, верно, графиня раздевается; сюда, верно, будет она через несколько минут: надобно воспользоваться временем!..» И Леон, спрятав свое платье в кустах бросается в воду… Высокие ивы с обеих сторон осеняют речку; она струится по желтому чистому песку, и луч солнца, пробиваясь сквозь тень деревьев, играет, кажется, на самом дне ее. Герой наш никогда еще не купался с таким удовольствием, и думает: «Какое прекрасное место выбрала маменька!» Мудрено ли, что ему хочется вообразить ее в зеркале вод?.. Не умеет!.. Деревенский мальчик не видал ни мраморных Венер, ни живописных Диан в купальне!.. Правда, в жаркие дни ему случалось взглядывать на берег пруда, где сельские смуглые красавицы… Но как можно сравнивать? Смешно и подумать!.. Леон, без сомнения, обратился бы с вопросами к божеству реки, если бы знал мифологию, но он по своему невежеству думал, что в воде живут одни скромные, молчаливые рыбы!.. Вдруг белое платье мелькнуло вдали сквозь деревья… Леону не было времени одеться: он выскочил из реки на другой берег и лег на землю в малиновых кусточках… Эмилия пришла с своими девушками, осмотрелась и начала раздеваться… Что делает наш малютка? Тихонько разделяет ветви куста и смотрит: это обвиняет его! Но сердце бьется в нем как обыкновенно: это доказывает его невинность! Молодость так

любопытна! Взор ребенка так чист и безгрешен! Во всяком случае, преступление глаз есть самое легкое: кто их боится? И скупцы дозволяют смотреть на свое золото!.. Эмилия снимает с себя белую кофточку и берется рукою за кисейный платок на груди своей… Читатель ожидает от меня картины во вкусе златого века: ошибается! Лета научают скромности: пусть одни молодые авторы сказывают публике за новость, что у женщин есть руки и ноги! Мы, старики, всё знаем: знаем, что можно видеть, но должно молчать. С другой стороны, нужно ли описывать в романе такие вещи, которые (благодаря моде!) ныне у всякого перед глазами: в собраниях, на балах и гуляньях? В романах описывают только феникса и жар-птицу: не воробьев, не ласточек, всем известных. Я же должен смотреть на предметы единственно глазами героя моего; а он ничего не видал!.. За графинею прибежали три английские собаки, бросились в реку, переплыли на другую сторону, обнюхали в траве бедного Леона и начали лаять. Он испугался и во весь дух пустился бежать от них… они за ним, с лаем и визгом… Несчастный Актеон! Вот наказание за твое любопытство видать богиню без покрова! К счастью, графиня была не так зла, как Диана, и не хотела затравить его, как оленя. Узнав беглеца, она сама испугалась и кликала изо всей силы английских собак своих — которые послушались и дали ему благополучно убраться за ближний холм. Там он без памяти упал на землю, насилу мог отдохнуть и с унылым видом, через час времени, возвратился к своему платью; но, видя, что к шляпе его пришпилена роза, ободрился… «Маменька на меня не сердита!» — думал он, оделся и пошел к ней… Однако ж закраснелся, взглянув на Эмилию; она хотела улыбнуться и также закраснелась. Слезы навернулись у него на глазах… Графиня подала ему руку, и, когда он целовал ее с отменным жаром, она другою рукою тихонько драла его за ухо. Во весь тот день Леон казался чувствительнее, а графиня — ласковее обыкновенного: она была добродушна — была прекрасна: итак, могла ли страшиться нескромного любопытства?

(Продолжения не было)

1803

Примечания

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1802, №№ 13, 18; 1803, № 14. Перед последним отрывком, начинающимся в «Вестнике Европы» главой IX, Карамзин поместил следующее примечание: «Продолжение романа, которого начало было напечатано в 13 и 18 нумере „Вестника Европы“ прошедшего году. Если читатели забыли его, то следующие главы будут для них отрывком. Сей роман вообще основан на воспоминаниях молодости, которыми автор занимался во время душевной и телесной болезни: так по крайней мере он нам сказывал, отдав его, с низким поклоном, для напечатания в Журнале».

Стр. 755. Исторические романы. — Карамзин имеет здесь в виду европейский и русский псевдоисторический роман XVII—XVIII вв., в частности, роман Хераскова «Нума, или Процветающий Рим» (1768).

Стр. 756. …ни слова, ни дела… — «Слово и дело» — юридическая формула, означавшая в XVII—XVIII вв. сведения о политическом преступлении.

Стр. 757. После турецких и шведских кампаний… — Турецкая война (1737—1739); шведская война (1743—1744).

Стр. 761. Хронографы — летописцы.

Стр. 763. Часовник, или часослов — церковная книга, по которой обучали грамоте.

Стр. 764. «В ребенке будет путь» — то есть он будет толковым, «путевым» человеком.

«Дайра, восточная повесть» — повесть Ж. де ла Попелиньера, в русском переводе была напечатана в 1766 г.

«Селим, и Дамасина» — африканская повесть, в переводе на русский язык вышла в 1761 г.

«Мирамонд». — Точное название: «Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда», роман Ф. Л. Эмина (СПб., 1763).

«История лорда N». — По-видимому, имеется в виду роман «Приключение милорда, или Жизнь младого человека, бывшего игралищем любви» (СПб., 1771).

Стр. 766. Станицы рыболовов — есть стаи птиц из породы чаек.

Стр. 768. «Система натуры» — книга П. Гольбаха (1770).

Стр. 772 ...под вашими знаменами с буквою П. и Я — По-славянски «паки я» (то есть "снова, опять я ").

Смысл фразы. «Не хочу стать под знамена эгоистов».

↑ Локк говорит, кажется, что душа рожденного младенца есть белый лист бумаги.

↑ Надобно вспомнить, что это было в старину; по крайней мере очень давно.

↑ Опять старинное! Ныне уже не пишут в таких случаях на розовых бумажках.

↑ Об них говорено было в предшедших главах.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch